

СУДЬБЫ

Лит. Россия - 1991 - 27 дек. (№ 52) - с. 8 - 9.

СМУТНЫМ от влажного снега февральским днем мы ехали с Виктором Петровичем Астафьевым в его Овсянку. Как водится, дорогу коротали разговорами. Конечно же — о литературе, и прежде всего о провинциальной, жесткие условия существования которой не дали до конца раскрыться многим талантам, до поры погубленным где нищетою и пьянством, где чиновным произволом и завистью, где отсутствием спасительной крыши над головой, элементарной культурной среды, а где и от слепого самомнения и некритического отношения к себе и литературному дарованию.

Сам живя в провинции, В. Астафьев старается не упустить из виду каждое новое интересное имя, радуется каждому талантливому произведению. Причем делает он это так искренне и заразительно, что, уезжая домой, я не удержался и выпрошил рукопись стихов молодого, но очень даровитого поэта Антона Нечаева для публикации ее в «Столице»...

И то ли погода мрачная, то ли усталость душевная располагали к разговорам далеко не веселым. Вспомнились трагически ушедшие Рубцов и Прасолов, Вампилов, потерянные нами Шукшин и Передреев и те, кто помоложе, успевшие сказать лишь несколько обнадеживающих слов в литературе. А сколько еще талантов не выявленных, не поддержанных, не приободренных в трудную минуту сгинуло в провинции. Разве сочтешь тут убытков? В этом смысле провинция жестока, и одолеть ее можно только работой, подчас на износ. Ведь как ни говори, но у провинциального писателя значительно больше препятствий на дороге к читателю, больше страданий.

— Грех так думать, знаю, большой грех, — скажет мне Виктор Петрович, — но посмотрел я на последнем съезде из нашего брата писателя и подумал... половине из них не хватает несчастья. Большого не желаю, но маленького, чтоб немножко укротить некоторых, надо было б. Все, кого знаю, кто сам под смертью побывал с инфарктом или кого-то потерял близкого, говорят — после этого отношения с жизнью совершенно изменились. Другим человеком становишься...

Несколько позже Виктор Петрович покажет одну из любимых своих книг, купленных еще в молодости, — довоенную хрестоматию по русской литературе XIX века, вторую ее часть, посвященную так называемым второстепенным писателям.

— Давайте посмотрим, что это за второстепенные... Бедная Россия... Огарев, Никитин, Полонский, Фет, Майков, Алексей Константинович Толстой, Случевский, Апухтин, Писемский... Так вот, из этих тридцати с чем-то человек только двое или трое умерли естественной смертью. Большинство умерло от хохотки. Вот такая была «модная болезнь». Гаршин упал в пролет лестницы, Апухтин умер от водянки, разнообразий сень мало. И к сожалению, половина из них... там сокращенно пишут — алк., алк., алк. У некоторых даже фотографий не сохранилось. Вот такие судьбы у русской литературы.

Да, из всех традиций эта оказалась наиболее устойчивой. И не в связи ли с такой судьбой, подумалось, в нашей богатой и разнообразной литературе постоянно звучит какая-то совестливая, сокровенная интонация: то ли печали, то ли вины за ту жестокую правду о человеке, которую писатели русские, страдая и мучаясь, никогда не скрывали и не приукрашивали. И никогда они не отрекались от человека, призывая пожалеть или хотя бы понять его в сквернах и несовершенствах, в па-

дениях, памятуя, что он прообраз Божий, брат во Христе, что есть у него еще время одуматься и покаяться, нравственно возродиться. Раскаявшийся же грешник, как известно, ближе Богу, чем праведник.

Человеколюбивый нерв русской литературы, несмотря на самые неблагоприятные обстоятельства нашей духовной жизни, к счастью, не отмер окончательно, сохранился благодаря живучести сострадательной души россиянина. Онемелая и задушенная античеловеческими догмами, где-то в самой глубине своей она чудом уберегла тепло и доброту, жертвенность и сострадание, свое сокровенно русское...

От корешков великой бытийной литературы, несмотря на духовную засуху, время от времени прорастали побеги то так называемой деревенской прозы, то военной, то исторической, неся в себе пусть и разрозненные, но глубокие мысли о современном человеке, о его драме безверия и беспамьяства, трудно объяснимой бытовой логикой скорпионьей способности жалить самого себя, тяге к саморазрушению...

Апокалиптическое мироощущение стоящего на развалинах Отечества человека, утравшего семейный лад в изрядно опустевшем семейном гнезде, наиболее остро и, может быть, даже отчаянно выразили В. Астафьев, В. Белов и В. Распутин. И в этом реквиеме по Руси уходящей, не выжившей ни за тремя волоками, ни тем более на утопленных Матёрах, мне отчетливо слышится и скорбный мотив сиротства человека, его вселенского одиночества на этой выплакавшей последние слезы земле, прозвучавший в творчестве В. Астафьева.

Не он один, конечно, много размышляет о драме современного человека, но прежде всего у В. Астафьева мы найдем немало точных и глубоких психологических наблюдений, сомнений, раздвоенности сознания героев, растерянности в обществе лжи и лицемерия. Долгое существование в такой нравственной системе координат неизбежно приводит к проблеме выбора — либо согласие с предлагаемыми обстоятельствами бытия, либо бунт со всеми вытекающими последствиями.

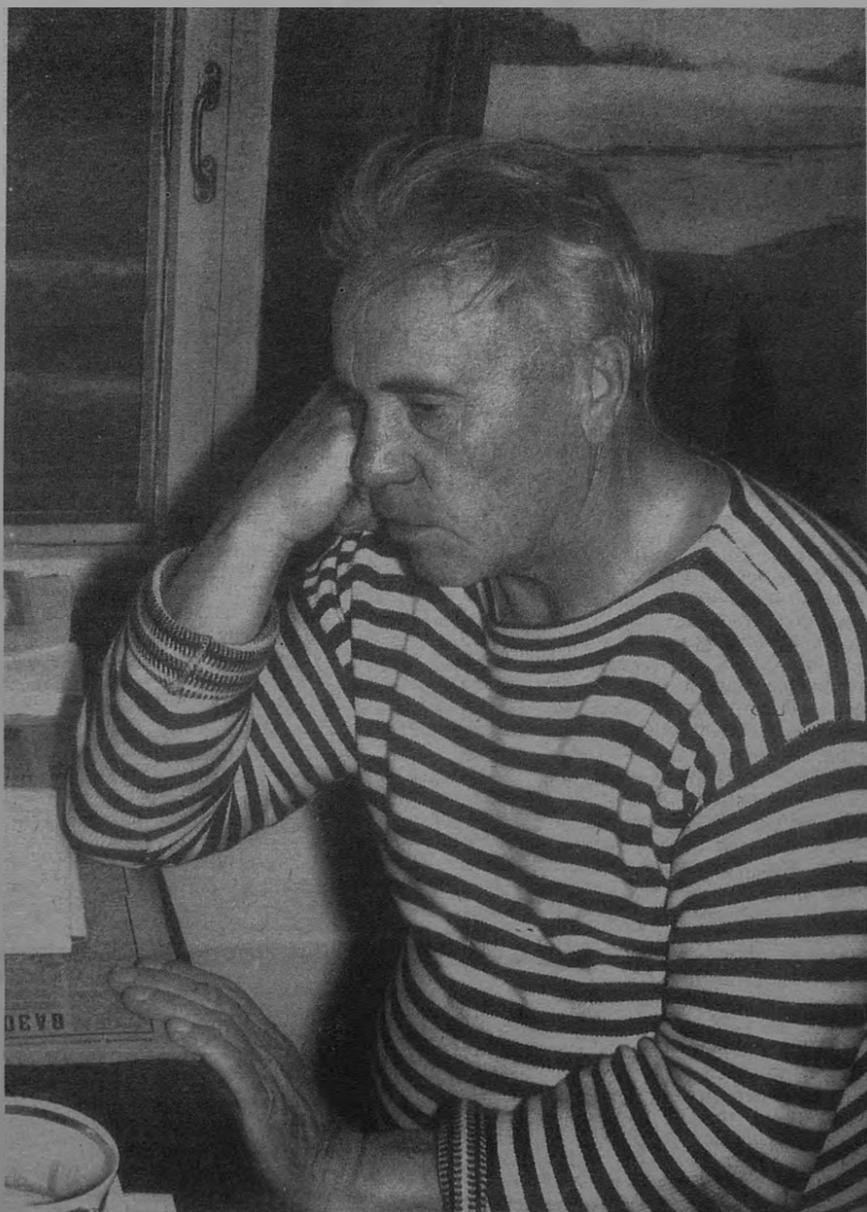
Заметных бунтарей наша литература по известным причинам не дала, но выбор первого пути — согласие — проанализировала достаточно глубоко, отразив таким образом нравственное состояние народа в последние доперестроечные годы. «Равнодушие — бич нашего народа. Оно проникло во все слои общества», — в сердцах скажет В. Астафьев в одном из своих выступлений. Равнодушие же — это начало самого страшного вида одиночества человека, бессильного перед произволом и насилием.

В наши дни в районной больнице от недосмотра врачей умирал молодой красивый парень. «В своей недолгой жизни был этот человек бесконечно одинок и беден...» Обреченный и никому не нужный, он медленно угасал за печкой, и Людочка, из одномоментного рассказа В. Астафьева, тоже существо неприкаянное, через его жуткую смерть «осознаемо ощутила всю отверженность умирающего человека, теперь и самой ей предстояло до конца испытать чашу одиночества, отверженности, лукавого людского сочувствия...». И нехитрым своим умом приходит она почти к афористичному выводу: «В беде, в одиночестве люди все одинаковы».

Понятно, почему критики либо не замечали, либо предпочитали обходить эту проблематику, хотя без нее, на мой взгляд, вряд ли В. Астафьев стал бы крупнейшим современным писателем. Его двойственное понимание человека — как жертвы постигнутого его одиночества и как реальной угрозы всему живому — происходит от глубокого понимания современной жизни, от нежелания сглаживать ее очевидные болезненные противоречия.

И в этом, на мой взгляд, проявляется его незаемный, не вышедший, а глубоко выстраданный патриотизм, выражаемый не громким манифестированием, не славолюбием своему горемичному народу, а в прописи далеко не сладкого лекарства от поразивших его недугов. Все это рождает немало недоразумений относительно позиции писателя в среде, казалось бы, единомышленников. Все ответы на них я советовал бы искать в прозе В. Астафьева, художника глубоко русского, традиционного в лучшем смысле этого слова, с ярким индивидуальным пихьем.

ДОРОГА бежала все время где-то недалеко от Енисея, широкого и мощного еще, но уже подорванного изнутри распространённой хворью — «результатом хозяйственной деятельности человека», от которой извелась и скончалась не одна российская река. Незатягивающимися ранами-полыньями, протертыми «величайшей в мире гидроэлектростанцией», потел-ды-



Виктор Астафьев в деревне Овсянка, 1986 г.

СНЕГИРИ НА ОБОЧИНЕ

мился легендарный Енисей. Странное и противоположное зрелище удручало, как и всякое гибельное насилие над живым и безответным существом.

Виктору Петровичу нездоровилось, он кашлял и зябко кутался в шарф, и мне становилось неловко за нашу поездку.

— Смотри, снегири, — прервал он мои угрызения.

На обочине дороги, на узкой белой кромке, на унылом и безрадостном фоне мертвой природы краснели красногрудые птицы. Глаза, утомленные монотонным мельканьем черно-белого пейзажа, не могли оторваться от возникшего видения. Нарядные стезжки на белом полотне, как вышитая скатерка, обещали удачу. Вспомнилась пословица — «Скатертью дорога» в первом ее добром, увя, забытом значении: пожелание счастливого пути, чтоб дорога была ровной и гладкой, как скатерть на столе. Сейчас, к сожалению, используют ее в другом, прямо противоположном, грубом смысле — «убирайся, никто не задерживает».

Что искали тут снегири? Корма? Или обычное любопытство к беспокойствам и пустым хлопотам проезжающего люда? А может, просто присели отдохнуть? Никто не знает. Но уже одним своим появлением на дороге они что-то стонули у нас внутри, пошевелили застывшую, укочанную душу. Не хотелось говорить о грустном, вспоминать нелепые потери. Жизнь наполнила о себе, вторгалась в нас, заставляла думать о будущем. Может, и действительно всеильна красота и ее присут-

вие в мире так необходимо, чтобы человек окончательно не сошел с ума, не одичал, не сдал в последнем усилии наложенные на собственное горло руки?

Легко предположить, что источником сиротского мотива в творчестве В. Астафьева стало его детство. Отсюда он черпает многие запомнившиеся нам чувства и переживания, тут мы найдем и заветные ключи к расшифровке его образов.

«Я сидел у костра раздавленный, убитый. Мне еще никогда не было так стыдно и больно за себя, за село родное, за эту реку и землю, суровую, но приветливую землю... Мне хотелось побежать по берегу... сказать что-то незнакомому человеку, попросить у него прощения...» — читаем покаянную исповедь героя в «Последнем поклоне». А всего-то и случилось, что председатель сельсовета Митроха оскорбил и прогнал приставшего к берегу вчерашнего зека, одного из тех, кто только что закончил курс выделки коммунистическим воспитанием. Однако тщетность подобной «педагогике» сразу бросается в глаза — плоть зека, судя по всему, месили изрядно, но духа, человеческого достоинства и неукротенного восторга жизнью «перековать» не удалось. Почему же этому не сломленному, не расчеловеченному незнакомцу и потому такому странному, не похожему на всех сразу поверил деревенский мальчонка-сирота? Их сблизил томлящая обоих одиночество, чуткая к малейшему проявлению добра, даже намека на него, в котором они ищут своеобразную компенсацию за свое сиротство, пере-